

УДК 81'276.6: 34

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ И ЗАДАЧИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕКСТОВ¹

Валерий Александрович Мишланов

д. филол. н., профессор кафедры общего и славянского языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. mishl@psu.ru

В статье обсуждаются актуальные проблемы судебной лингвистики, связанные с изучением «дискурса вражды». Под лингвистическим углом зрения анализируется закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности»; враждебность и речевая агрессия осмысливаются как коммуникативно-речевая категория; дается краткая характеристика различных видов речевой враждебности (бытовой, классовой, религиозной и др.), описываются их существенные языковые и коммуникативные признаки; выявляются наиболее важные проблемы, решение которых будет способствовать оптимизации судебной лингвистической экспертизы экстремистских текстов.

Ключевые слова: коммуникативно-речевая категория; враждебность; речевая агрессия; судебная лингвистическая экспертиза текста.

Одной из насущных теоретических задач судебной лингвистики остается поиск путей оптимизации лингвистической экспертизы конфликтных текстов, причем особую актуальность в наше время получают исследования, направленные на анализ текстов с точки зрения их соответствия закону «О противодействии экстремистской деятельности» [Федеральный закон 2006].

Экстремизм проявляется чаще всего как речевая деятельность, т.е. как мотивированное определенными интенциями (вражды, ненавистью, агрессией) и коммуникативными целями (нанести оскорбление, унижить, причинить нравственный вред) порождение текстов, форма и содержание которых таковы, что эти коммуникативные цели и интенции адекватно интерпретируются адресатом. Две трети из перечисленных в ст. 1 означенного закона видов экстремизма представляют собой речевую деятельность, т.е. порождение текстов. Такие тексты либо непосредственно нацелены на достижение экстремистских целей («возбуждение расовой, национальной или религиозной, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию»; «пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности» и др.), либо они включаются в иную деятельность в качестве необходи-

мой составляющей, без которой эта иная деятельность не имеет признаков экстремизма.

Например, такие действия, как «осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы», по сути своей всегда сопряжены с речевой деятельностью – с порождением высказываний экстремистского содержания. Факт «нарушения прав и свобод гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхождением» не может быть доказательно установлен, если указанные действия не сопровождались реализованной в той или иной форме вербальной деятельностью. Например, физическая расправа, избиение человека, мотивированное ксенофобией, как правило, сопровождается разного рода высказываниями, имеющими целью **явным образом** эту ксенофобию выразить.

То же касается и положения закона, в соответствии с которым к экстремистской деятельности отнесено «воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов,

комиссий, соединенное с насилием или **угрозой** его применения». Такое деяние не может быть осуществлено без речевой активности, поскольку угроза (по крайней мере как наказуемое деяние) есть перформатив, т.е. есть особого рода высказывание, не имеющее внеречевого (описываемого) объекта, или референта, так что смысл и цель такого высказывания заключены в нем самом, причем то действие, которое проявляется как речевое, иначе и не может быть осуществлено [Остин 1986]. Наверное, кто-то может воспринимать как некую угрозу неречевые действия – мимику, жесты, позы, и т.п., но вряд ли возможно надежно и однозначно идентифицировать смысл (функции) этих действий и, стало быть, квалифицировать их как наказуемое деяние.

Сказанное дает основания утверждать, что, во-первых, закон «О противодействии экстремистской деятельности» требует специальных лингвистических комментариев (как, впрочем, и другие законы, регулирующие речевую коммуникацию, – «О СМИ» и «О рекламе»), а во-вторых, применение норм права во многих случаях становится проблематичным без специального лингвистического исследования текстов «экстремистского дискурса».

Приведем показательный, на наш взгляд, пример из практики судебных разбирательств по делам, связанным с экстремистской деятельностью. Неким Ширинкиным в Интернете был размещен текст, включающий, помимо информации о покупке огнестрельного оружия и заверений о ненависти автора ко всему на свете, угрозы совершить самоубийство и «забрать с собой дватри десятка душ», что было расценено как заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте. Проведенные экспертные лингвистические исследования (предполагавшие, в частности, ответ на вопрос, «является ли текст в целом или какие-либо его фрагменты сообщением о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей») подтвердили такую квалификацию текста Ширинкина. Замечу, что вынесенный на экспертизу вопрос с юридической и лингвистической точек зрения сформулирован некорректно, поскольку, любой ответ на этот вопрос, что называется, бьет мимо цели, т.е. не дает оснований для юридически грамотного и справедливого решения. Ведь для обвинительного приговора по ст. 207 УК, нужно убедиться в том, что имело место **событие преступления**, а именно **заведомо ложное сообщение** о готовящемся террористическом акте заменить на террористический акт, иначе говоря, сообщение о планируемом событии, облеченное в такое язы-

ковое выражение, которое удовлетворяет условиям истинности.

Как известно, среди языковых выражений выделяется особый класс, называемый перформативами, относительно которых бессмысленно ставить вопрос об их истинности или ложности. Такие высказывания (сообщения) отвечают условиям искренности, успешности, справедливости и др., но не истинности. К таковым относятся, например, комиссивы, т.е. разного рода намерения, обещания (*Я обещаю больше не опаздывать*), директивы (*Прошу не опаздывать*), вердиктивы, в том числе оценки (*Виновен; Назначаю штрафной удар; Он негодяй!*), и др. В этот класс языковых выражений (сообщений) входят и разного рода угрозы (*Я не потерплю, если ты будешь опаздывать; Я сожгу твой дом; Лучшие не попадайся мне на пути; Ты у меня попляшешь; Я убью тебя, если ты не отстанешь от моей жены* (см.: [Серль 1986]).

Необходимо различать собственно угрозу (*Я сожгу дачу Петра*) и сообщение об угрозе (ср.: *Иван заявил, что сожжет дачу Петра*). Еще раз подчеркнем, что только последнее (сообщение об угрозе) может быть истинным или ложным, но никак не сама угроза, т.е. соответствующего содержания высказывание **от первого лица**. Конечно, собственно угроза может быть в действительности притворной, мнимой, однако реальность или мнимость угроз, выраженных перформативными высказываниями (*Я вас всех ненавижу... Я заберу с собой два-три десятка душ. Я пока не решил, в какой ВУЗ города я пойду. Наверное, все-таки, в политех. Я его ненавижу. Хотя одинаково ненавижу и остальные "типа университеты". Я ненавижу людей. Вы у меня попляшете. На раскаленной сковородке*), не может быть установлена процедурами лингвистического и логического анализа. Поэтому угроза (не сообщение о ней!) ни при каких обстоятельствах не может быть приравнена к ложному сообщению.

Вероятно, г-н Ширинкин, разместивший в Интернете этот текст, заслуживает какого-то наказания за угрозу осуществить некие насильственные действия в отношении неопределенных лиц, но именно за эти действия (если они перечислены в статьях уголовного кодекса как наказуемые); в действительности же он был осужден по ст. 207 УК РФ, хотя само событие преступления по признакам этой статьи отсутствовало.

Не приходится сомневаться, что языковед, исследующий тексты под судебнолингвистическим углом зрения, должен выйти за пределы «внутренней лингвистики», поскольку в его задачу в

этом случае входит выявление интенций, мотивов, целей текстопорождения (часто скрытых, например, при манипулятивном использовании языка). Решение этой задачи не может быть достигнуто без обращения к методам и достижениям психологии (различных ее разделов), социологии и других областей гуманитарного знания. Так, чтобы понять, какие языковые формы отражают ненависть, враждебность, нетерпимость (интолерантность), неприязнь, презрение, страх и т.п., важно знать, что представляют собой эмоции, названные этими словами. В частности, лингвистическое обеспечение процедур, связанных с применением норм законодательства РФ относительно экстремизма, требует выявления и описания специфики *враждебности, нетерпимости* (отрицания, неприятия чужого, сопровождаемого агрессией), *презрения, неприязни, пренебрежения, бесцеремонности, фамильярности* и т.д. как коммуникативно-речевых категорий (см.: [Стернин, Шилихина, 2001; 2006]).

Выявление границ между негативными эмоциями в психологическом ракурсе важно, но недостаточно, чтобы определить, переходит ли языковое выражение рамки дозволенного законом. Ответ на вопрос, когда, в каком контексте, в каких условиях коммуникации текст, отражающий (воплощающий) нетерпимость, враждебность, ненависть и т.п., становится экстремистским, поможет получить правоведа скорее лингвист, чем психолог.

Отметим, что дискурс враждебности (довольно широко представленный в современной массовой коммуникации, особенно в Интернете (см.: [Салимовский, Ермакова 2011]), в наше время привлекает пристальное внимание лингвистов (сошлемся, для примера, на исследования, обобщенные в екатеринбургской коллективной монографии с показательным названием: «Язык вражды и согласия в социокультурном контексте современности» [2006]).

Прежде чем выявить специфику языка вражды в современной коммуникации, стоит остановиться на типологии враждебности – на особенностях разных ее видов, выявляемых по тем или иным критериям. Проблема типологии враждебности относится к лингвистике в значительно меньшей мере, чем к психологии (в том числе к социальной психологии) и социологии, а потому мы не будем здесь затрагивать психологических нюансов и ограничимся общими определениями. Психологи трактуют враждебность как «комплексную аффективно-когнитивную черту, или ориентацию личности», складывающуюся «из

различных эмоций, драйвов и аффективно-когнитивных структур, взаимодействующих друг с другом». «Из эмоций в комплексе враждебности самое важное место занимают эмоции гнева, отвращения и презрения» [Изард 2002: 286].

Языковые и коммуникативные проявления враждебности, по-видимому, во многом обуславливаются социальным статусом речевого взаимодействия (статусом адресата, или объекта враждебности). Прежде всего следует разграничивать бытовую и социальную враждебность [Мишланов, Салимовский 2006: 63–64]. Бытовая враждебность, проявляющаяся как разновидность речевой агрессии в межличностных отношениях, противопоставляется *интолерантности*, имеющей преимущественно социальный характер [Стернин, Шилихина 2006: 24–25]. Тексты, реализующие бытовую враждебность, становятся предметом правового регулирования (и судебнолингвистического исследования) только при определенных условиях, например, когда речевая деятельность содержит признаки оскорбления.

Очевидно, не всякий социальный конфликт оборачивается враждебностью. Социологи определяют конфликт как взаимодействие социальных субъектов, выражающееся в противоборстве, которое обусловлено несовпадением интересов и ценностей («социальный конфликт – это явное или скрытое противоборство объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных объектов» [Запрудский 1992: 54]), причем, как подчеркивают исследователи, «конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточка социального бытия» [Здравомыслов 1996: 96].

Социальный конфликт, выливающийся в экстремизм, может отражать как материальные (экономические) противоречия интересов социальных групп, так и различия идеологических установок (стереотипов). Поэтому может создаться впечатление, что враждебность порождается именно конфликтами (несовпадением интересов). Нам, однако, представляется, что одного этого – наличия разных интересов материального характера и несовпадения идеологических стереотипов – недостаточно, чтобы у представителей какого-то социума возникли чувства ненависти и презрения к любому представителю иной социальной группы.

По мысли К.Ф.Седова, говорящий (языковая личность) принадлежит к одному из трех основных типов общения – к *инвективному, рационально-эвристическому* или *куртуазному* (о чем можно судить по выбору стратегий фатического

общения) [Седов 1999: 21]. Субъект, у которого на первом плане оказываются гуманистические ценности, не выберет в ситуации конфликта инвективную стратегию общения, коммуникативные приемы, характерные для дискурса вражды, а предпочтет отстаивать свои интересы, взывая к разуму. Речевая агрессия возникает тогда, когда происходит кардинальное смещение ценностных ориентиров и на первый план выдвигаются антиценности и нормой становятся жестокость, пренебрежение человеческой жизнью, отсутствие жалости, сострадания к другому и т.п. – все то, что в гуманистической духовной традиции соотносится с категорией зла. Сама враждебность (включающая, как было сказано, «эмоции гнева, отвращения и презрения») и есть главнейшая антиценность. Добавим, что речевая агрессия, в которой выражается враждебность, как правило, сосуществует с речевой антикультурой, под которой мы понимаем не только ориентацию на инвективный модус общения, но и невладение нормами литературного языка и некритическое отношение к своим речевым способностям (ср.: «С точки зрения развития личности речевая антикультура характеризуется низким уровнем коммуникативно-речевой компетенции, оцениваемым общающимися людьми как достаточный, отвечающий их потребностям» [Салимовский 2011: 46]).

Социальная враждебность проявляется во взаимодействии различных социальных групп – классов, слоев, профессиональных групп, этносов и религиозных объединений. В соответствии с этим имеет смысл внутри социальной враждебности выделять (прежде всего под коммуникативно-речевым углом зрения) идеологическую, классовую, этническую и религиозную ее разновидности.

Идеологическая враждебность в той или иной мере может быть свойственна любому обществу – не только тоталитарному, как принято думать. Демократическое социальное устройство, можно предположить, рождает даже больше предпосылок для конфликтов в сфере идеологии, поскольку социальное и экономическое развитие предполагает множественность политических движений и, как следствие, идеологический плюрализм. Благоприятным для дискурса враждебности фактором становится и отсутствие цензуры в СМИ (особенно в киберпространстве Рунета – см.: [Салимовский, Ермакова 2011]): для многих, ратующих за демократические ценности, принцип свободы слова становится чем-то вроде священной коровы, тогда как этот принцип в правовом государстве не может быть важнее,

чем принцип «свободы личности» (право гражданина на защиту чести и достоинства).

Вряд ли можно сомневаться в том, что коммуникативно-речевая специфика дискурса враждебности во многом обусловлена социально-политическим и идеологическим контекстом, господствующей в тот или иной период идеологией. Так, враждебность в дискурсивных практиках советского периода нашей истории проявлялась во многом не так, как в современном российском обществе. Идеологическая нетерпимость советского периода проявлялась, конечно, в первую очередь в текстах СМИ, но не только. В науке (особенно в гуманитарной) даже незначительное отступление от марксистско-ленинских принципов – классовости, народности, воинствующего атеизма, веры в светлое коммунистическое будущее, нетерпимости к буржуазным (либеральным) ценностям, к иному образу мыслей, к иной идеологии – резко осуждалось («трибуной» были не только передовицы центральных газет, фельетоны, но и научные журналы). Слова *буржуазный, империалистический, антикоммунистический* получали ошутимую отрицательную оценочность. Кроме того, словарь русского языка пополнялся более или менее экспрессивными оценочными советизмами типа *военщина* (обычно *американская, израильская*), *поджигатели войны, идеологическая всеядность, безродные космополиты* и т.п.

Идеологическая нетерпимость проявлялась, далее, в текстах антирелигиозной направленности – как воинствующий материализм и атеизм, довольно ярко представленный в агитке Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих», глубоко оскорбляющей чувства христианина.

В современной России идеологическая враждебность реализуется главным образом в политическом дискурсе. Эта сфера коммуникации изучается сейчас настолько активно, что появился даже термин *политическая лингвистика* (см.: [Будаев Чудинов: 2006]), на наш взгляд, впрочем, избыточный или неточный, как и какой-нибудь иной, возникающий по той же мотивации, например, *религиозная* или *медицинская лингвистика*, к которой можно было бы причислить исследования соответствующих дискурсов). Изучение под коммуникативно-прагматическим углом зрения текстов политического дискурса показывает, что речевая стратегия дискредитации в наше время становится едва ли не ведущей во многих жанрах, реализующих политический дискурс, – в теледебатах, в предвыборных агитационных листовках и т.п. (см., например: [Чер-

нявская 2006; Паршина 2007; Мишланов, Нецветаева 2009]).

Классовая враждебность советского политического дискурса отчасти сохраняется и в постсоветской России, подпитываемая нынешними коммунистами и их сторонниками (в основном представителями старшего поколения): имеются в виду, в частности, не самые теплые высказывания в адрес нашей новой буржуазии и связанных с ней властей предрежащих (на разных уровнях), нередко встречающиеся на газетных страницах или звучащие в эфире. К этой разновидности дискурса враждебности можно отнести интолерантность к некоторым профессиональным слоям современного российского общества: к бюрократии (представителям административно-управленческого аппарата, чиновникам разного уровня), к правоохранным органам и к работникам пенитенциарной системы. Враждебность по отношению к милиции (полиции) как к профессиональной общности, к представителям правоохранных институтов в целом, проявляемая в публичной коммуникации, очевидно, также должна квалифицироваться как проявление экстремизма.

Этническая враждебность в советских СМИ не имела эксплицитного проявления, если не считать послевоенной антисемитской кампании, эвфемистически названной борьбой с космополитизмом и «безродными космополитами». Как явствует из положений Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», к экстремизму должна быть отнесена «пропаганда исключительности, превосходства ... граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности» (п. 1 ст. 1). Стоит заметить в этой связи, что советской публицистике в разные периоды по-разному, но всегда так или иначе был свойствен пропагандистский крен, который в наше время вполне может быть квалифицирован как противоречащий нормам российского законодательства. В период сталинизма это проявлялось в виде устойчивой номинации *великий русский народ*, позже – в целенаправленном внедрении в «новояз» советской газетной публицистики, в политический дискурс фразем с сочетанием *советский народ* (новый, как утверждалось, тип этносов, непременно великий, прогрессивный, идущий в авангарде мировой истории и т.п.).

Бытовой национализм советского периода в наше время отнюдь не стал менее распространенным, скорее наоборот. В языке этническая враждебность отражается в наличии (и широкой

употребительности в разных сферах, но более всего в интернет-коммуникации) уничижительных вариантов этнонимов – *чурка, чернож-ый, жид, хач, азер, такая-то морда* и под. Любопытно, что в бытовой сфере коммуникации представления об этническом неравенстве могут сохраняться в презумпциях фраз с положительно-оценочными словами, например: *Среди цыган (татар, евреев, русских) тоже есть хорошие (добрые, умные, непьющие) люди.*

Подчеркнем, далее, что отмена цензуры в российских СМИ и не всегда разумно употребляемая свобода слова привели к расширению сфер коммуникации, в которых проявляется этническая нетерпимость, ксенофобия.

Религиозная враждебность (религиозный экстремизм) в советское время не имела возможности проникнуть на страницы газет и журналов или в эфир. В наши дни это явление весьма распространено, причем речь идет не только об исламском фундаментализме (ваххабитах и пр.), идеологически подпитывающем терроризм, но и о так называемых тоталитарных сектах, и даже о русской православной церкви, проповедническая деятельность ряда представителей которой не всегда является образцом веротерпимости.

Как и в других ситуациях, при разрешении конфликта, вызванного текстом религиозного содержания (например, при проведении лингвистической экспертизы такого текста), важно ограничивать высказывания, направленные на возбуждение религиозной розни, и высказывания, характеризующие (негативно или положительно) чьи-либо действия, например, руководителей секты, которые нередко для вовлечения в нее новых членов используют недозволенные методы, опасные для психического здоровья человека приемы воздействия. Так, в одной из пермских газет была опубликована статья «Кому служат *новые религии?*», в которой содержались резко отрицательные суждения относительно деятельности руководителей секты неопятидесятников. В связи с публикацией этой статьи было начато расследование по признакам нарушения норм российского законодательства об экстремистской деятельности. Судебнолингвистическое исследование показало, однако, что в статье нет высказываний, которые можно было бы расценить как направленные на возбуждение религиозной розни (т.е. настраивающие читателей против какого-либо из основных вероучений, исповедуемых в России, – православного христианства, католицизма, ислама, буддизма или иудаизма) или на пропаганду исключительности или неполноценности человека по его религиоз-

ной принадлежности. Негативные суждения, содержащиеся в статье, направлены были не против религиозного учения как такового (в данном случае – догматов неопятидесятников), а против деятельности руководителей секты, против методов вовлечения в секту новых адептов, приемов психологического воздействия на рядовых членов секты, противоречащих, с точки зрения автора статьи, моральным принципам и несущих опасность для общества.

Проблема квалификации текстов церковно-религиозного дискурса осложняется тем, что пропаганда какого-либо вероучения как единственно верного (т.е. пропаганда исключительности его адептов) есть необходимый компонент идеологической (пасторской, проповеднической) деятельности священнослужителя, его профессиональный долг, но, по сути, такая пропаганда является в то же время пропагандой неполноценности представителей другого вероучения (или другого варианта основного вероучения – ереси, секты).

Итак, для решения лингвистических проблем, связанных с применением законодательства РФ об экстремизме, необходимо сосредоточить усилия на изучении языковых и речевых (коммуникативных) показателей враждебности. Во многих случаях выявление экстремистской сути текста не вызывает особых трудностей. Таковы, например, тексты, в которых явным образом (эксплицитно и экспрессивно) выражается ненависть, враждебность, нетерпимость или имеются высказывания, оскорбляющие национальное достоинство, религиозные чувства, профессиональную честь. Если в связи с такими текстами и возникают какие-то лингвистические и юридические проблемы, то касаются они не процедур их объективной квалификации как экстремистских, а того, как предупредить оправдание, своего рода легализацию подобных текстов, используя ... институт судебной лингвистической экспертизы. К сожалению, даже бесспорные, казалось бы, случаи могут быть интерпретированы как неоднозначные.

Прецедент такого рода был проанализирован в [Мишланов, Салимовский 2010]. В ходе расследования уголовного дела об избиении девятиклассника Тагира Керимова была назначена судебная лингвистическая экспертиза. Перед экспертом ставился вопрос: «Направлены ли фразы *Убивай хача, мочи хача! Бей хача! Крысам – крысячья смерть! Бей чурбанов! Бей черных! Россия для русских!* в контексте данной ситуации [избиения киргизского юноши] на разжигание межнациональной розни, вражды, а также на

унижение достоинства человека или группы лиц по признаку национальности, происхождения?» Используя разного рода логические и «лексико-графические» уловки, эксперт (из «Центра судебных экспертиз Северо-западного округа Санкт-Петербурга») посчитал возможным очевидно черное назвать белым и дать отрицательный ответ на этот вопрос.

Однако часто автор экстремистского (по коммуникативной цели) текста действует не напрямую, предпочитая использовать косвенные речевые формы, избегая прямых призывов (с формами побудительной модальности), заменяя их риторическими вопросами. Так, идеологическая нетерпимость ныне меняет речевой облик. Вместо пропагандистской фразеологии (в стиле передовиц советских партийных газет), гневного обличения инакомыслия в тексте могут быть какие-нибудь внешне нейтральные зарисовки, притчевые аллегории, литературные реминисценции. Говорящий, создавая текст, может использовать не только языковые знаки (в их первичных или вторичных значениях), но и, так сказать, семиотику вещей. Р.Барт замечает, что «многие семиологические системы имеют субстанцию выражения, сущность которой заключается не в том, чтобы значить» (в отличие от языковых знаков, означающие которых существуют только для этого). Такие знаки он называет знаками-функциями. «Сначала функция “пропитывается” смыслом. Такая семантизация неизбежна: с того момента, как существует общество, всякое пользование предметом превращается в знак этого пользования: функция плаща заключается в том, чтобы предохранить нас от дождя, но эта функция неотделима от знака, указывающего на определенную погоду» [Барт 1975: 131].

Это необходимо учитывать лингвисту-эксперту, воссоздающему полный и точный смысл текста, идентифицирующему тот или иной текст по интенциям его порождения и коммуникативным целям, в частности, анализирующему речевую деятельность и ее результаты с точки зрения соответствия нормам российского законодательства.

Проблема заключается в том, что привлечь к ответственности автора текста с неявно экстремистским содержанием весьма непросто (как в случае с грязными намеками, которые понимаются всеми и причиняют кому-то глубокие нравственные страдания, наносят оскорбление, но не могут быть квалифицированы как оскорбление, поскольку содержащие их языковые выражения не имеют «неприличной формы»). Преодоление этой проблемы может быть достигнуто только в

тесном взаимодействии правоведов и лингвистов. Но и этого недостаточно. Предположим, что теоретические изыскания в области лингвистики позволили создать обширные лингвистические комментарии к «речевым» статьям законодательных документов. Однако чтобы использовать эту информацию в ходе следствия или судебного разбирательства, вновь нужна помощь лингвиста, на этот раз не теоретика, а практика – специалиста в области судебной лингвистической экспертизы. В самом деле, любой текст – более или менее сложный по форме и содержанию – уникален, и применить в ходе его исследования разработанные в теоретической лингвистике методы может только специалист, во-первых, владеющий этими методами, а во-вторых, способный объективировать процедуры интроспективного анализа содержания текста и убедительно обосновать свои выводы, в частности, показать, что именно в тексте, рассчитанном на достижение некоторой экстремистской цели, может быть квалифицировано как объективный показатель экстремизма.

Исследуя текст одной первомайской листовки, содержащий различные призывы (*Создавайте боевые профсоюзы, гражданские движения, координационные советы! Выходите на улицы! Объединяйтесь и боритесь за свои права!* и др.), мы не обнаружили эксплицитных речевых признаков экстремизма. И все же смысловой анализ текста листовки позволил дать утвердительный ответ на вопрос экспертизы (*Имеются ли в тексте листовки призывы, направленные на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы?*), поскольку один из призывов (завершающий текст листовки, что, можно думать, сделано с умыслом – привлечь к нему особое внимание) содержит аллюзию на известные события в Египте, вызвавшие череду революционных потрясений в арабских странах: *Превратим каждое предприятие, двор, университет в очаг народного сопротивления! Каждую площадь – в площадь Тахрир!* Те, кто знает об этих событиях, о кровопролитном противостоянии сторонников и противников власти, это высказывание могут воспринимать как призыв действовать подобным же образом, т.е. как призыв к осуществлению массовых беспорядков по мотивам идеологической, политической вражды.

Подведем итоги. Поскольку то, что в российском законодательстве трактуется как экстремизм, в большинстве случаев осуществляется в виде речевой деятельности, т.е. в порождении текстов определенного содержания, применение закона «О противодействии экстремистской деятельности» должно быть лингвистически обоснованным. Во-первых, сам закон нуждается в лингвистических комментариях, а во-вторых, юридические квалификации конкретной речевой деятельности в свете этого закона необходимо предварять специальным лингвистическим исследованием – судебной лингвистической экспертизой конфликтного текста. Оптимизация методов лингвистической экспертизы, как показывает практика, остается насущной задачей теоретической и прикладной лингвистики. Решению этой задачи, на наш взгляд, будет способствовать исследование:

- активных процессов в современной массовой коммуникации (в политическом дискурсе, газетной публицистике, различных телепрограммах, Интернете);
- особенностей дискурса враждебности в современных СМИ, языковых и коммуникативных проявлений речевой агрессии;
- имплицитных компонентов смысла текстов, реализующих в той или иной мере социальную враждебность; способов и средств непрямого воздействия на адресата («маскировки» интенций и коммуникативных целей);
- специфики конфликтогенных текстов церковно-религиозной сферы, а также текстов коммерческой рекламы, использующих вербальные и иные знаки, прямо или косвенно связанные с религией и священными текстами и затрагивающие религиозные чувства потребителей рекламы.

Примечание

¹ Работа издается при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта №11-14-59010а/У.

Список литературы

- Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: "за" и "против". М.: Прогресс, 1975. С.114–163.
- Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. 276 с.
- Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. Ростов н/Д: Феникс, 1992. 254 с.
- Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.: Аспект Пресс, 1996. 317 с.
- Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2002. 464 с.

Мишланов В.А., Нецветова Н.С. Коммуникативные стратегии и тактики в современном политическом дискурсе (на материале политической рекламы предвыборных кампаний 2003, 2007 и 2008 гг.) // *Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология.* 2009. Вып.6. С.5–13.

Мишланов В.А., Салимовский В.А. Дискурс враждебности как социальный феномен // *Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности* / отв. ред. И.Т.Вепрева, Н.А.Купина, О.А.Михайлова. Екатеринбург: УрГУ, 2006. С.56–66.

Мишланов В.А., Салимовский В.А. Еще раз о роли лексикографии в лингвистической экспертизе // *Слово. Словарь. Словесность: Текст словаря и контекст лексикографии: материалы Всерос. науч. конф., Санкт-Петербург, 11–13 ноября 2009 г.* / отв. ред. В.Д.Черняк. СПб.: Сага, 2010. С.112–118.

Остин Дж. Слово как действие // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XVII. Теория речевых актов. М., 1986. С.22–130.

Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика / под ред. О.Б.Сиротининой. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 232 с.

Салимовский В.А. Культура речи и антикультура // *Дискурс, культура, ментальность* / отв. ред. М.Ю.Олешков. Нижний Тагил, 2011. С.34–50.

Салимовский В.А., Ермакова Л.М. Экстремистский дискурс в массовой коммуникации Ру-

нета // *Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология.* 2011. Вып.3(15). С.71–80.

Седов К.Ф. О жанровой природе дискурсивного мышления языковой личности // *Жанры речи.* 2. Саратов: Гос. учеб.-науч. центр «Колледж», 1999. С.13–26.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып.17. Теория речевых актов. М., 1986. С.170–194.

Стернин И.А., Шилихина К.М. Коммуникативные аспекты толерантности. Воронеж: Истоки, 2001. 206 с.

Стернин И.А., Шилихина К.М. Толерантность, интолерантность и агрессия // *Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности* / отв. ред. И.Т.Вепрева, Н.А.Купина, О.А.Михайлова. Екатеринбург: УрГУ, 2006. С.20–30.

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ) // *Рос. газ., федер. вып. №4131.* 2006. 29 июля.

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия. М.: Флинта, 2006. 136 с.

Язык вражды и язык согласия в социокультурном контексте современности / отв. ред. И.Т.Вепрева, Н.А.Купина, О.А.Михайлова. Екатеринбург: УрГУ, 2006. 568 с.

LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION ON EXTREMISM AND TASKS OF LINGUISTIC EXPERTISE OF TEXTS

Valery A. Mishlanov

**Professor of General and Slavonic Linguistics Department
Perm State National Research University**

The article analyses the acute problems of judicial linguistics related to the study of "the discourse of enmity". The Law of the Russian Federation "On countering extremist activity" is studied from a linguistic point of view; hostility and verbal aggression are considered as a communicative-speech category; the article provides a brief characterization of various types of verbal hostility (domestic, class, religious, etc.), their significant linguistic and communicative features are described; the most important problems the solution of which will contribute to the optimization of the judicial linguistic expertise of extremist texts are identified.

Key words: communicative-speech category; hostility; verbal aggression; judicial linguistic expertise of a text.